Андрей РАСТОРГУЕВ

ДАЛЬШЕ БЫЛА ЖИЗНЬ

Рыжий Борис, Оправдание жизни / Б.Б. Рыжий ; Послесл. Ю.В. Казарина. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004.

Велика Россия, а ходим по ней мы одними дорогами. Правда, встречаемся не всегда – во всяком случае, вживую.

Оказывается, с Борисом Рыжим (1974-2001) мы могли познакомиться еще в 1994 году, в Москве, на Всероссийском совещании молодых писателей, которое проводил Союз писателей России. А вот не вышло. С одними и теми же людьми – мурманским помором Николаем Колычевым, к примеру – общались, а в семинарах были разных: Борис у Станислава Золотцева, а я у Виктора Кочеткова.

Так что сошлись лицом к лицу лишь спустя десять лет благодаря книге «Оправдание жизни», вышедшей в конце 2004 года. И его лицо – лишь на обложке, под которой собраны его стихи, прозаические и критические опыты, интервью, письма и очерк Юрия Казарина «Поэт Борис Рыжий: постижение ужаса красоты».

Добавить что-либо существенное к тому, что сказано в этом очерке о поэтике Бориса, могут, наверное, лишь столь же утончённые теоретики и практики поэзии, каким является Юрий Казарин. Для меня вся книга представляла не только литературный, но и, если хотите, социологический интерес. Хоть и заявил Борис в декабре 2000 года в «Независимой газете», уже став лауреатом «Антибукера», что «слава – это для теноров», вопрос об основах и механизме общественного признания, мне кажется, интересует если не каждого, то весьма многих людей, творящих в провинции. Может, это пресловутая гордыня – а, может, и просто стремление состояться, найти то самое оправдание и своей жизни.

Так что с тех пор, как имя поэта Рыжего зазвучало в московских СМИ, хотелось понять, с чего именно возлюбила уральского парня литературная и окололитературная столица, для которой зачастую всё, что восточнее кольцевой автодороги – Сибирь, не более цивилизованная, чем во времена Ермака. И оттого, что я сам уралец, немалые годы, правда, бывавший на родине редкими наездами с Севера

и потому оторвавшийся от её творческой, да и не только жизни, желание это усугублялось…

Может, своим уральским антуражем, связанным с его родным свердловским Вторчерметом – «вторчиком», он их поначалу и зацепил. Однако, разумеется, не только этим, поскольку, выращивая из нашего индустриально-окраинного сора настоящую поэзию, подымаясь от быта до бытия, Борис ориентировался на классиков, творчество которых он столь счастливо впитал в своей семье. И то, что Казарин, называя Рыжего явлением «типично-уникальным для России», ставит его в ряд с Лермонтовым, Полонским, Аполлоном Григорьевым, Анненским и Блоком – по звучанию, по интонации, пожалуй, так оно и есть. Иосиф Бродский («*Ах, Иосиф Александрович, дорогой мой человек…*»), со стихами которого Борис впервые познакомился в 14-15 лет, в качестве главного ориентира также виден в стихах Бориса невооружённым глазом. И продолжение этого ряда современными Кушнером, Гандлевским, Рейном, товарищем которых, по мнению Казарина, мог со временем себя считать Рыжий, представляется вполне естественным.

И тяга Бориса к Петербургу – к его каменно-имперской сердцевине, воспетой этими поэтами и обязанной им созданием мифа о себе, продолжающегося столь же прохладно-ясными питерскими элегиями Рыжего, тоже вполне согласуется с этим рядом. Хотя, если по большому счету, сердцевиною этой реальный Питер отнюдь не исчерпывается. За Обводным каналом, где заводы перемежаются с жилыми массивами, за Невой и на юге, где выстроены спальные районы, он, положа руку на сердце, не слишком-то отличается от Екатеринбурга и других российских городов, которые утратили историческое лицо или вовсе отсчитывают годы своей жизни с советских времен. Что, впрочем, тоже могло сделать стихи Рыжего близкими для этих поэтов.

Вполне показательным представляется и отсутствие в этом ряду предшественников и собратьев Пушкина и, скажем, Есенина, которых сделали своим знаменем представители другой поэтической школы. О реакции носителей этого знамени на его стихи сам Борис в 1994 году, возвратившись из Москвы с того же совещания молодых писателей, рассказывал так: «…услышал, что пишу не совсем в традиционном ключе, ориентируюсь на «иной пласт культуры». Имя почитаемого мной Иосифа Бродского, на творчество которого я сослался, не оказалось здесь авторитетным…»

Стоит оговориться: стихи, которые писал тогда Борис, являют лишь проблески таланта, который разворачивается в более поздних текстах. И всё-таки, хотя формулировать различия между школами – дело спорное и неблагодарное, спорить с их существованием, возможно, не станет никто.

В контексте этих различий публичное признание несомненного дара Бориса Рыжего представителями одной из поэтических школ, которую весьма условно можно назвать питерской, предстает как естественная, штатная реакция системы опознавания «свой-чужой». И «Антибукер» (может быть, подобно многим другим премиям) – как сигнал этого опознавания, открывшего ему путь не только в отечественные столицы, но и далее, в Голландию, куда поэт выезжал в 2000 году на одну из интернациональных литературных «тусовок».

О тяготении Бориса к этой школе свидетельствует и список «лучших русских поэтов», составленный им в 2000 году. Хотя до поры он, видимо, на различиях не зацикливался, по-доброму отозвавшись, к примеру, всё о том же московском писательском совещании. И к собственному вступлению в Союз писателей – российских, что совершенно логично, учитывая цеховую принадлежность «антибукеровского» круга, относился вроде бы с иронией. И Пушкина с Есениным Казарин-таки упоминает – чуть позднее, в цепочке, которую, по его словам, вобрали в себя поэтическая память и поэтическое сознание Бориса. Что также естественно для русского стихотворца, хотя есенинские мотивы явственно выступают не в стихах Рыжего, а в отдельных чертах его биографии. И в том числе, увы, последней…

«Из Вторчермета в Роттердам» – так обозначает Казарин географию «дороги жизни» Бориса Рыжего, его поэтическую судьбу. После точки, которую поставил 27-летний поэт в мае 2001 года, с этим обозначением трудно не согласиться. Насколько, однако, неизбежной была эта точка? Что она – естественная плата за поэтический дар и признание? Или – следствие случайных особенностей отдельного человека, многие стихи которого, начиная с самых первых в этой книге, свидетельствуют о нацеленности автора на самоуничтожение?

Размышляя над этими вопросами, Казарин ссылается на присущее истинному поэту одиночество и неприятие повседневной службы, поездок на дачу по выходным и прочего вроде как пошлого, однообразного бытового счастья, которое маячило перед Борисом впереди. Мол, «борьба первородного с социальным всегда заканчивается

победой таланта и гибелью его носителя, если, конечно, одарённый человек не запрещает себе быть таковым…».

Что-то мешает принять правоту этой красивой надгробной речи полностью. Разве именно суицид в жизненном финале является главным признаком таланта? И разве не называет тот же Казарин язык поэзии оптимальным выражением не только бытия, но и быта?

После юношеского взлёта жизнь и вправду как-то притормаживает, перестаёт искриться новизной. Приподниматься над ней становится куда труднее, одного таланта для этого уже недостаёт, требуется то, что, видимо, и можно назвать духовными силами. И поиск их источника становится насущной необходимостью, тем более – для поэта, который расходует энергию души постоянно.

Мог ли, однако, стать таким источником отъезд, о котором подумывал Борис? Разве в Америке или в Европе, куда его звали собратья по перу, этих сил для настоящего русского поэта больше?

«Екатеринбург держал – семьёй, родителями, землёй…» – замечает Казарин. Насколько каменистая уральская, да и любая другая провинциальная земля может служить для творческой души постоянной опорой, а не только стартовой площадкой? Как сделать так, чтобы она не держала, а поддерживала творца? Может ли вообще быть такой поддержкой извечное наше, описанное еще Чеховым и, увы, подкрепляемое очередной волной централизации всего и вся и традиционной глухотой малой родины стремление в Москву и далее на запад? Или Урал и сам может стать точкой литературного притяжения?

Готовых и однозначных ответов на эти вопросы, похоже, не существует.

2005 г.